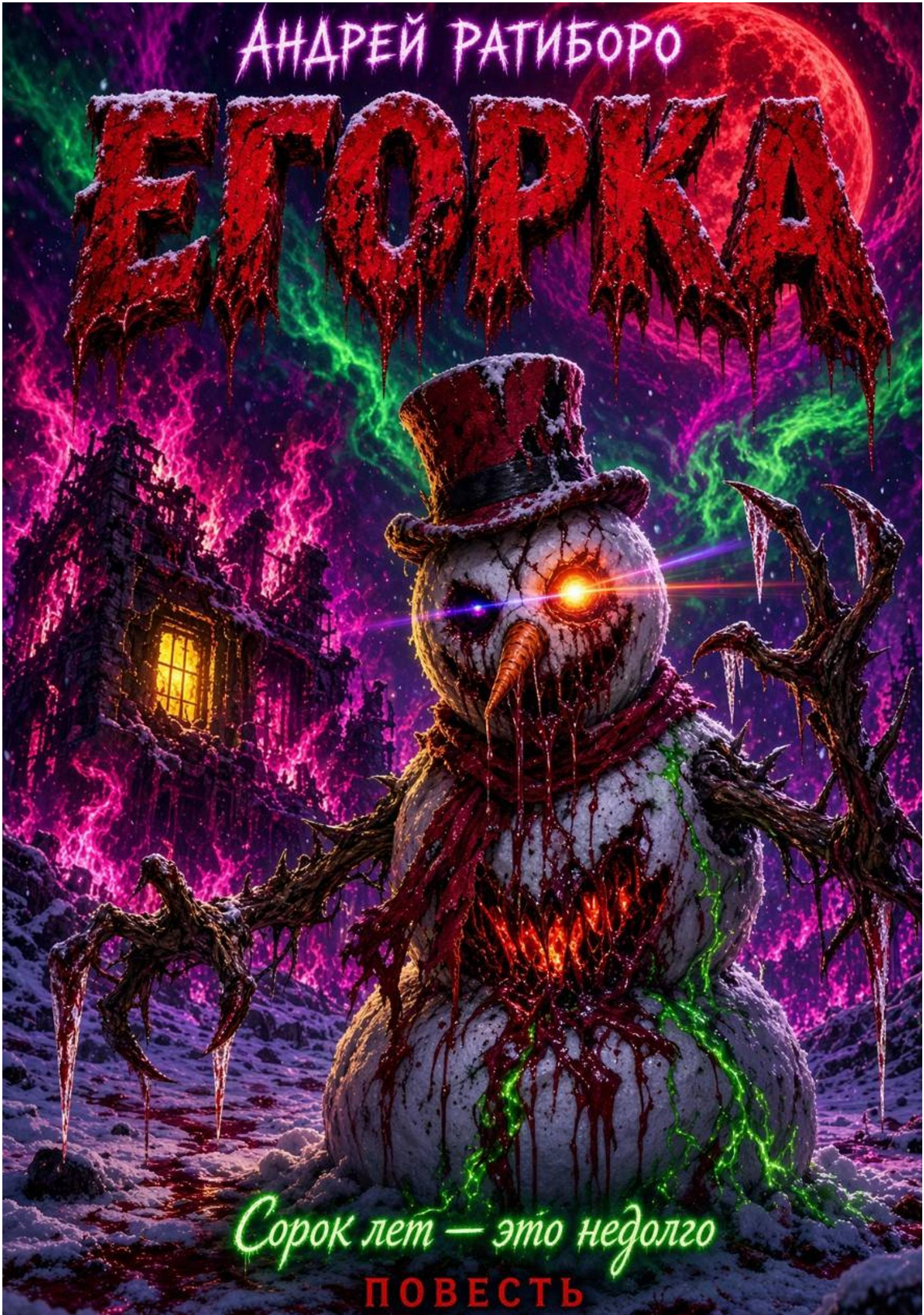
Андрей Ратиборо
Егорка
Сорок лет — это недолго
повесть

Андрей Ратиборо

Егорка

«Автор»
2026

Ратиборо А.

Егорка / А. Ратиборо — «Автор», 2026

Ноябрь 1986 года, Бузулук. Первый снег, двор пятиэтажки и снеговик в красном шарфе. Шестилетняя Танька даёт ему имя — Егорка. Ночью над городом пролетает древний хозяин соснового бора, и одно случайное слово падает в угольные глаза.Наутро снеговик стоит лицом к окнам. Пропадает собака, на лавочке находят замёрзшего человека, дети просыпаются от холода, который не уходит. Старуха с первого этажа знает: так уже было в сорок шестом. И будет снова — через сорок лет.В 2026-м Андрей Котов возвращается в родной город. Сорок лет он хранил уцелевший уголёк в жестянке из-под «Монпансье» — и вот она пуста. Город остался без огня, на улицах стоят тысячи снеговиков, и повзрослевшим друзьям детства придётся пойти туда, откуда приходит Чёрный Холод.Провинциальный хоррор о детстве, памяти и тепле, которое нельзя сжечь.

© Ратиборо А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Егорка 5
Пролог. Сорок шестой год 6
Часть первая. 1986 10
Глава первая. Первый снег 10
Глава вторая. Тот, кто летит с ветром 12
Глава третья. Следы 14
Глава четвёртая. Метеостанция 16
Глава пятая. Последний вечер Кольки Рыжова 20
Глава шестая. Холодные ночи 24
Глава седьмая. Читальный зал 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Андрей Ратиборо
Егорка

Егорка

Повесть
Андрей Ратиборо

Пролог. Сорок шестой год

В декабре сорок шестого года на Деповской улице жили так, как жили тогда по всей стране: тесно, голодно и с надеждой.

Барак стоял у самых путей, длинный, одноэтажный, обшитый почерневшей от паровозной копоти доской. В нём было девять комнат и общая кухня с одной плитой на всех. Зимой окна заклеивали газетами крест-накрест, щели в рамах конопатили паклей, а по ночам слушали, как за стеной, в двадцати шагах, вздыхают и лязгают составы. Паровозы шли на Оренбург и на Куйбышев, на Ташкент и на Москву. Иногда — редко — проходили эшелоны с запада, и тогда барачные бабы выходили к насыпи и подолгу смотрели вслед, хотя смотреть было не на что: теплушки, дым, мелькание колёс.

Анна Кузовлева жила в шестой комнате с мужем и сыном.

Муж её, Тимофей, вернулся с фронта в сорок пятом, весь целый, без единой отметины, если не считать того, что почти перестал разговаривать. До войны он был весёлый, громкий, играл на гармони на всех свадьбах Деповской. Теперь гармонь стояла под кроватью в мешке, а Тимофей работал кочегаром на паровозе серии «Э» и приходил с поездок чёрный, как его уголь, и молчаливый, как этот уголь. Анна не жаловалась. У других мужья не вернулись вовсе.

Сыну Пете было семь лет. Он родился в тридцать девятом, за два года до войны, и отца впервые увидел, когда ему исполнилось шесть. Первую неделю он отца боялся. Вторую — ходил за ним хвостом. А потом Тимофей взял его с собой в депо, посадил в будку паровоза и дал подержать лопату, и с того дня Петя знал про паровозы всё, что положено знать человеку, который собирается стать машинистом.

Он был тихий мальчик. Худой, белобрысый, с большими серьёзными глазами. Соседки говорили, что глаза у него старые. Анна сердилась на это, но втайне сама так думала.

Снег в тот год выпал поздно, двадцать восьмого ноября.

Он шёл весь день, ровный и тихий, и к вечеру укрыл чёрные шпалы, угольные кучи у депо, ржавые остовы списанных вагонов на запасном пути. Деповская улица вдруг стала чистой и нарядной — такой, какой её не видели, наверное, с самой революции. Даже барак со своей копотью казался под снегом не таким убогим.

Петя слепил снеговика сам.

Других детей в бараке было немного, и все старше, у всех свои дела. Петя катал комья в одиночку, пыхтя и останавливаясь отдохнуть. Анна смотрела на него в окно, отдирая с рамы старую газету, чтобы стало видно. Комья выходили неровные, бугристые, с вмёрзшей в них угольной крошкой — у депо весь снег был такой, серый. Но Петя старался. Он долго ровнял бока ладошками в штопаных варежках, потом пропал куда-то и вернулся с ржавым ведром, которое надел снеговику на голову. Потом с морковкой — Анна охнула: морковка была последняя, она берегла её на суп. Но выскакивать на мороз и ругаться не стала.

Тимофей пришёл с поездки в шестом часу. Он постоял у снеговика, глядя на него сверху вниз, как на нового человека, с которым ещё неизвестно, сработаешься ли. Потом спросил:

— А глаза?

Петя развёл руками.

Тимофей ничего не сказал. Он развернулся и ушёл обратно, в сторону депо, туда, где под парами стоял его паровоз. Вернулся минут через двадцать, держа что-то в промасленной тряпке. Развернул. На тряпке лежали два куска угля, и над ними дрожал воздух. Угли были ещё горячие — прямо из топки.

— Голой рукой не бери, — сказал Тимофей. — Обожжёшься.

Он сам вдавил их в снег, один, другой. Снег вокруг зашипел и подтаял, а потом схватился ледяной коркой, и угли засели в ней намертво, как в оправе.

Анна видела это из окна. Она видела, как Тимофей выпрямился и долго смотрел снеговику в лицо. И ей показалось, что муж её улыбнулся — впервые за полтора года.

— Как звать? — спросил он сына.

Петя подумал.

— Митя.

— Почему Митя?

— Не знаю. Он похож.

Тимофей кивнул так, будто это всё объясняло, и они пошли домой ужинать.

Ужин был такой, какой бывал тогда: картошка в мундире, по полкартофелины на брата сверх нормы, потому что Тимофею дали премию за перевыполнение, чёрный хлеб с солью и кипяток с сушёной морковью вместо чая. Петя ел молча и всё время поглядывал на окно. За окном было темно. В темноте стоял Митя.

— Не смотри ты туда, — сказала Анна. — Никуда он не денется.

Петя опустил глаза в тарелку. А потом, уже лёжа в кровати, под двумя одеялами и отцовской шинелью, сказал в потолок:

— Мам. А ему не холодно?

— Кому?

— Мите.

Анна засмеялась.

— Он же снеговик. Снеговикам холодно не бывает. Им тепло нельзя — растают.

Петя долго молчал. Потом сказал:

— А мне кажется, ему холодно.

Анна поцеловала его в макушку и задула лампу.

В ту ночь ей не спалось.

Она лежала рядом с Тимофеем, который спал, как всегда, тяжело, со стоном, будто до сих пор шёл по каким-то своим дорогам. Слушала, как дышит за ширмой Петя, как шуршит в стене мышь, как гудит в печке. Около полуночи за окном поднялся ветер. Он налетел внезапно, без предупреждения, и ударил в стену барака так, что зазвенели стёкла. Анна подумала, что газету теперь сорвёт совсем, и надо было бы встать, заткнуть хоть подушкой. Но ветер стих так же внезапно, как начался. Будто кто-то пронёсся мимо и улетел.

А потом она услышала, как скрипнул снег.

Один раз. Тихо. Как скрипит снег под ногой человека, который переступил с места на место и снова замер.

Анна встала. Холод пола обжёг ступни. Она подошла к окну, отогнула край газеты и посмотрела во двор.

Двор был пуст. Белел снег, чернели угольные кучи у депо. Посреди двора стоял Митя в своём ржавом ведре. Всё было как вечером.

Почти всё.

Вечером Митя стоял лицом к депо — так поставил его Петя, чтобы снеговик смотрел на паровозы. Теперь он стоял лицом к бараку. И оба его угольных глаза смотрели прямо на окно шестой комнаты.

Анна отпустила газету. Сердце колотилось у неё в горле, и она сказала себе: глупости. Ветер. Ветер развернул, ветер такой был, что крышу едва не снёс. Ветер, конечно.

Она легла. И до самого утра не сомкнула глаз.

Потом были дни, которые она запомнила плохо, урывками, как запоминают долгую болезнь.

Помнила, что ударили морозы. Таких морозов не было даже в сорок первом, в самую страшную зиму. Сорок градусов днём, сорок пять ночью. Птицы падали на лету. Рельсы лопались с пушечным звуком, и путейцы работали круглые сутки. Вода в рукомойнике на кухне замерзала за ночь до дна, хотя плиту топили не переставая.

Помнила, что у соседей сверху, у Бобровых, пропала коза. Бобров клялся, что запирал сарай. Сарай и правда был заперт. А козы не было.

Помнила, как через неделю на путях нашли путевого обходчика Свиридова. Он лежал между рельсами, лицом вверх, с открытыми глазами, и улыбался. Фонарь его стоял рядом, аккуратно, как будто его поставили. В фонаре ещё горел огонь.

Помнила, как Петя каждый вечер подходил к окну, отгибал газету и подолгу стоял, глядя во двор. Анна прогоняла его спать. Он слушался. Но наутро она находила на подоконнике следы его ладошек на инее, а на стекле — круглое продышанное окошко.

И ещё помнила, что Митя рос.

Никто не замечал этого, кроме неё. Соседи ходили мимо снеговика, не глядя: у всех своих забот хватало — карточки, очереди, мороз. А Анна видела. Ведро, которое Петя надел ему на голову, в первый день приходилось ей по грудь. На пятый день — по плечо. На восьмой — она уже смотрела на это ведро снизу вверх.

Она сказала об этом Тимофею. Тимофей долго смотрел на неё своими пустыми фронтовыми глазами, потом сказал:

— Намело.

И больше к этому разговору не возвращался.

На девятую ночь Анна проснулась от холода.

Печь прогорела. В комнате стоял такой мороз, что дыхание выходило паром. Она нащупала на табуретке спички, хотела зажечь лампу — и замерла.

За ширмой не было слышно Петиного дыхания.

Она рванула ширму. Петя не спал. Он сидел на кровати, обхватив колени, в одной рубашке, и смотрел на окно. Газета с окна была сорвана и лежала на полу. А за стеклом, совсем близко, стояло что-то белое.

Анна не сразу поняла, что это. А когда поняла, у неё отнялись ноги.

Митя стоял вплотную к окну. Так близко, что его лицо — ком снега, ржавое ведро, морковка — заполняло всё стекло. Угольные глаза смотрели внутрь. И в глубине их, как в топке паровоза, если заглянуть в неё через щель заслонки, тлели две маленькие красные искры.

— Мам, — сказал Петя, не оборачиваясь. Голос у него был спокойный и сонный. — Он говорит, ему холодно. Он говорит, у нас тепло. Можно, он погреется?

Анна не ответила. Она смотрела поверх снеговика, поверх крыш, поверх депо — туда, где в чёрном небе над станцией медленно, беззвучно крутился высокий снежный столб.

В этом столбе был человек.

Длинный, худой, в тулупе навыворот. С бородой до пояса, в которой путались сосновые иглы. Он висел над Деповской улицей, как висит над рекой ястреб, высматривая рыбу. И смотрел вниз — не на неё, не на Петю, а на снеговика у окна.

Он смеялся. Анна не слышала смеха, но видела: борода его тряслась, плечи ходили ходуном. Это был смех беззвучный, как треск ветки на морозе. Смех старика, который увидел что-то очень, очень смешное.

Анна схватила сына в охапку, утащила на свою кровать, накрыла с головой одеялом и легла сверху, обхватив его руками и ногами. Так, как, бывало, ложилась на него в сорок первом, когда над станцией выли немецкие самолёты.

Тимофей спал. Тимофей ничего не слышал.

Она пролежала так до самого рассвета, слушая, как скребётся о стекло что-то мягкое и холодное. И молилась — впервые за много лет, путая слова, которым когда-то учила её бабка. А когда за окном посерело, скрежет стих.

Петя спал у неё под боком. Тёплый. Живой.

Анна подумала тогда, что всё кончилось. Что она отмолила, отлежала, отстояла его.

Она ошиблась. Впереди была ещё одна ночь. Десятая.

Но об этой ночи Анна Тимофеевна Кузовлева сорок лет не рассказывала никому.

Часть первая. 1986

Глава первая. Первый снег

В тот год снег запаздывал.

Весь ноябрь Бузулук стоял серый, голый, будто его забыли прибрать после осени. Ветер гонял по дворам обрывки газеты «Под знаменем Ленина», грязь на улице Комсомольской застывала по утрам в колючие гребни и к обеду снова раскисала. Старики на лавочках говорили, что зима нынче пропадёт, и кивали на Чернобыль: мол, весной там рвануло, вот погода и сбилась с хода. Говорили они это вполголоса и с удовольствием — как говорят о беде, которая случилась далеко.

А двадцать восьмого ноября, в пятницу, снег пошёл.

Андрюша Котов увидел его с третьего урока. Математичка Римма Павловна писала на доске дроби, мел скрипел, в классе пахло мокрыми валенками и хлоркой. Андрюша поднял голову — и за окном вдруг не стало ни тополей, ни гаражей, ни трубы котельной. Только белое. Крупные хлопья падали медленно, почти задумчиво, словно кто-то наверху никуда не спешил.

— Котов, — сказала Римма Павловна, не оборачиваясь. — Снег без тебя разберётся.

Класс захихикал. Андрюша уткнулся в тетрадь, но до самого звонка видел краем глаза, как белеет подоконник.

К четырём часам двор пятиэтажки номер семнадцать завалило по щиколотку. Снег был мягкий, сырой, такой лепится сам. Взрослые ещё не вернулись с работы, и двор принадлежал детям.

Их было четверо. Андрюша, одиннадцать лет, пятый «Б». Его сестра Танька, шесть лет, в шубе, перетянутой отцовским ремнём, и в шапке с помпоном, который мотался у неё над головой, как поплавок. Вовка Шилов из второго подъезда, по прозвищу Шило, — тощий, вечно с ободранными костяшками и вечно правый. И Лена Гаврилова с четвёртого этажа, отличница, которая обычно с ними не водилась, но сегодня вышла — снег уравнял всех.

— Давайте снеговика, — сказала Танька.

— Давайте крепость, — сказал Вовка.

Спорить не стали. Крепость строить долго, а темнеет в ноябре рано. Начали катать.

Первый ком Андрюша с Вовкой гнали через весь двор, от гаражей до самой песочницы. Ком рос, тяжелел и тащил за собой чёрную полосу земли с прошлогодними листьями. У песочницы он упёрся, и дальше его было уже не сдвинуть. Второй ком вышел поменьше, третий — с Танькину голову. Втроём, пыхтя, взгромоздили их друг на друга. Лена ходила вокруг и прихлопывала бока ладонями в варежках, чтобы было ровно.

— Кривой, — сказала она.

— Сама ты кривая, — ответил Вовка без злобы. — Живой человек тоже кривой.

Потом все разбежались за нарядом.

Танька принесла морковку — длинную, бледную, с хвостиком. Мать держала её для супа, и Таньке ещё предстояло за это ответить. Лена вынесла красный цилиндр из папье-маше: в прошлом году в школьном спектакле «Мистер Твистер» она играла дочку миллионера, и цилиндр остался у неё дома, на шкафу. Андрюша отдал свои синие варежки — запасные, с дыркой на большом пальце. Их надели на две сухие ветки тополя, и руки у снеговика вышли растопыренные, будто он чему-то удивлялся.

Шарф выпросили у бабы Нюры с первого этажа. Старуха сидела у окна, как сидела всегда, и смотрела во двор. Когда Танька постучала ей в стекло, она долго не открывала форточку, а потом всё-таки протянула что-то красное, вязаное, пахнущее нафталином.

— Вернёте, — сказала баба Нюра. — Слышите? Как растает — вернёте.

— Вернём! — крикнула Танька.

Баба Нюра посмотрела на снеговика, потом на небо, и форточку закрыла не сразу.

Метлу дал дядя Гоша, кочегар из котельной за гаражами. Он как раз вышел покурить — в ватнике нараспашку, красный от жара. Протянул старую метлу с обломанным черенком и сказал:

— Глаза-то из чего будут?

— Не знаем, — честно ответил Андрюша.

Дядя Гоша ушёл в котельную и вернулся с двумя кусками угля. Крупные, чёрные, с острыми гранями, они блестели, как мокрые. Он вложил их Андрюше в ладонь, и уголь оказался неожиданно тёплым — будто его только что вынули из топки.

— Антрацит, — сказал кочегар с уважением. — Не какая-нибудь там бурая крошка.

Глаза вдавили глубоко, под самый цилиндр. Рот Вовка выложил из шлака: семь мелких камешков полукругом. Вышла улыбка. Не весёлая и не грустная, а какая-то выжидательная — так улыбается человек, когда собирается что-то сказать, да передумал.

Все четверо отошли на шаг и посмотрели.

Снеговик стоял посреди двора, высокий, Андрюше по плечо. Красный цилиндр сидел чуть набок, красный шарф свисал до самого нижнего кома, синие варежки торчали в стороны. Метла стояла у бока, прислонённая к локтю, как у сторожа. Над ним уже зажглись окна, и в их жёлтом свете угольные глаза поблёскивали.

— Его надо назвать, — сказала Танька.

— Снеговик, — предложил Вовка.

— Нет. Он Егорка.

— Почему Егорка?

Танька пожала плечами так, как пожимают только в шесть лет, — всем телом.

— У него лицо такое.

Спорить опять не стали. Лицо у него и правда было такое.

Стемнело быстро, как темнеет в конце ноября: только что было серо — и уже синё, а потом черно. Из подъездов начали звать. «Лена, домой!» «Шилов, я кому сказала!» Андрюшина мать высунулась с балкона третьего этажа и крикнула, что если через минуту Танька не будет дома, то морковку ей припомнят вдвойне.

Дети разошлись. Последней уходила Танька. У двери подъезда она обернулась и помахала снеговику рукой.

— Спокойной ночи, Егорка.

Двор опустел. Снег всё падал, и следы детских валенок заполнялись, мягчали, исчезали. К десяти вечера двор стал ровным и чистым, как лист из новой тетради.

На нём остался только Егорка.

Баба Нюра на первом этаже ещё долго не ложилась. Она сидела у тёмного окна, не включая света, и смотрела на снеговика. Потом встала, достала из комода коробок спичек и положила его на подоконник. Перекрестилась на угол, где у неё за занавеской висела старая икона, и только тогда легла.

В ту ночь, сказала она потом, ветер был с бора.

Глава вторая. Тот, кто летит с ветром

За рекой Самарой, за лугами и старицами, начинается бор.

В Бузулуке его любят. Летом туда ездят за грибами, зимой — на лыжах, в санатории лечат лёгкие сосновым воздухом. Но есть места, куда не ходят даже лесники. Там сосны стоят так густо, что и в полдень сумерки, а мха на стволах больше, чем коры. Там тихо не по-лесному, а как в комнате, где кто-то спит.

Он жил там дольше, чем стояла крепость.

Когда в тысяча семьсот тридцать шестом году казаки рубили на берегу первые срубы, он уже был стар. Когда мимо шли пугачёвцы, он смотрел на них из-за стволов и не вставал ни на чью сторону. В девятнадцатом году мимо шли красные и белые, в двадцать первом — голодные, которых везли мёртвыми на телегах. Он смотрел и на них. Имени его никто не знал, а старухи в окрестных сёлах звали его Студенцом — и то шёпотом, и то не при детях.

Всю осень он лежал в своей норе под корнями сваленной сосны и ждал. Студенец всегда ждал первого снега. Первый снег — это дверь. На одну ночь между тем, что наверху, и тем, что внизу, не остаётся ничего, кроме белой пелены, и тот, кто знает слова, может её приподнять.

В этот раз у него было дело.

В сентябре лесхоз пробил просеку под новую линию электропередач. Тракторист по фамилии Харитонов, спиливая последний ствол на краю делянки, удивился: дерево было холодным внутри, как колодец, и пила заиндевела в тёплый день. Харитонов рассказал об этом в столовой, посмеялся и забыл. А Студенец не забыл. Это была его сосна.

Харитонов жил на улице Комсомольской, в доме номер двадцать один.

К полуночи снегопад стих, и над бором поднялся ветер. Он сорвал с верхушек сосен снежную пыль, закрутил её столбом, и в этом столбе, если бы кто-нибудь смотрел, можно было бы разглядеть старика. Длинного, сухого, в тулупе навыворот, с бородой, в которой путались сосновые иглы. Ног у него видно не было. Вместо ног был ветер.

Он летел низко, над самыми крышами. Под ним проплыли тёмные корпуса завода имени Кирова, потом вокзал, где стоял состав на Оренбург и сипло кричал диспетчер. Потом пошли пятиэтажки — серые, одинаковые, с редкими жёлтыми окнами. За одним из них кто-то смотрел поздний фильм, и синий свет телевизора мигал, как пульс.

Студенец ненавидел этот город. Ненавидел его трубы, его тёплые кухни, его пахнущие щами подъезды. Город был тёплым, а всё тёплое самой своей природой было ему враждебно. Так ржавчина враждебна железу.

Над домом номер двадцать один он покружил, отыскивая нужное окно, и начал говорить.

Слова эти были старше любого языка, на котором говорили в этих местах. В них не было гласных — только свист, скрип и тот сухой треск, с каким лопается лёд на реке. Слова предназначались Харитонову. К утру его сердце должно было стать холодным внутри, как сваленная сосна, и остановиться само собой. Врачи написали бы «острая сердечная недостаточность», и это была бы правда.

Но в самой середине заговора с крыши соседнего дома взлетела ворона.

Почему она не спала в полночь, никто уже не узнает. Она каркнула и ударила старика крылом прямо в лицо. Студенец дёрнулся. Ветер под ним вильнул, и старика отнесло на полсотни метров в сторону — над соседний двор, над пятиэтажку номер семнадцать.

А слово уже сорвалось с губ.

Слово нельзя вернуть. Это знали все, кто когда-либо ими пользовался. Оно упало вниз вместе со снежной пылью, словно камень, и искало, во что войти. Харитонова внизу не было. Был пустой двор, спящая песочница, заметённые гаражи.

И фигура посреди двора. В цилиндре. С глазами.

Слову нужны глаза. Без них оно не находит дорогу. Оно упало прямо в два куска антрацита, которые ещё помнили жар топки, и там холод встретился с огнём. Такого Студенец не задумывал. Такого не задумывал никто.

Старик завис над двором. Он смотрел долго — так долго, что часы на вокзале успели пробить четверть. Потом в его бороде что-то шевельнулось. Может быть, это была улыбка.

Харитонов подождёт. До весны ещё далеко, а то, что случилось внизу, было интереснее любой мести.

Ветер развернулся и ушёл обратно за реку.

Первым был холод.

Не тот холод, от которого зябнут руки. Другой. Холод был всем, что у него было, — нижний ком, средний, верхний, сама его толща. И только в двух местах, там, где были глаза, тлело что-то другое. Маленькое. Драгоценное.

Тепло.

Он не знал этого слова. Он не знал никаких слов. Но он сразу понял, что тепла мало и что оно кончается.

Потом пришли звуки. Гудение в трубах. Далёкий гудок тепловоза. Капля, упавшая с крана где-то на третьем этаже. Дыхание. Десятки, сотни дыханий за стенами, и в каждом было то самое, чего ему не хватало.

Потом пришла память. Она была короткой, всего в один вечер. Руки в варежках, которые его гладили. Смех. И тонкий голос, сказавший ему первое и единственное, что он о себе знал.

Егорка.

Он стоял посреди двора до рассвета и слушал, как дышит дом. А перед самым рассветом, когда небо над гаражами начало сереть, он впервые пошевелился.

Снег тихо хрустнул.

Егорка повернулся лицом к окнам.

Глава третья. Следы

В субботу Андрюша проснулся от того, что Танька стояла у окна и смеялась.

В комнате было холодно. На стекле за ночь выросли ледяные папоротники, и Танька продышала в них круглое окошко. Она стояла босиком на ледяном полу, в ночнушке, и даже не дрожала.

— Андрюш, он на нас смотрит.

— Кто?

— Егорка.

Андрюша сполз с кровати, подошёл и тоже глянул в тающее окошко.

Вчера они поставили снеговика лицом к гаражам. Андрюша помнил это точно, потому что Вовка ещё сказал: пусть караулит мотоцикл Рыжова. Теперь Егорка стоял лицом к дому. Красный цилиндр чуть запрокинулся назад, морковка смотрела вверх — прямо на третий этаж, прямо на их окно.

— Это Шило ночью выходил, — сказал Андрюша. — Повернул для смеху.

Танька покачала головой.

— Он сам. Он мне ночью махал.

Андрюша хотел сказать ей, что она дура, но не сказал. В стекле он видел своё отражение, и сквозь него — два чёрных уголька под цилиндром. И ему показалось, что они смотрят не в окно вообще, а именно на Таньку.

Во двор они вышли после завтрака. Вовка уже был там: стоял в двух шагах от снеговика, засунув руки в карманы, и не подходил ближе.

— Я его не поворачивал, — сказал он вместо приветствия. — Сразу говорю.

— А кто?

— Следов нет, — сказал Вовка. — Сам посмотри.

Следов и правда не было. Снег вокруг Егорки лежал ровно, нетронуто, только у самого нижнего кома его стянула тонкая гладкая корка, будто снег там подтаял и снова замёрз. Андрюша наступил на неё валенком. Корка не проломилась. Она была твёрдой, как каток.

Лена вышла позже всех. Она ничего не сказала про то, куда смотрит Егорка, а сразу подошла и стала считать камешки рта, тыча в каждый варежкой. Она была отличница и доверяла только цифрам.

— Семь же было, — сказала она.

— Ну, семь.

— А теперь девять.

Вовка присел и пересчитал. Потом пересчитал Андрюша. Девять. Улыбка стала шире и теперь тянулась почти от края до края. И два новых «камешка» на углах рта были не серыми, как остальные, а желтоватыми, удлинёнными и чуть загнутыми.

Вовка протянул к одному из них палец — и отдёрнул.

— Это зуб, — сказал он странным, тонким голосом. — Собачий. Я знаю, у нас в деревне такой же в сарае валялся.

Никто не засмеялся.

Тузика хватились к обеду.

Тузик был ничей, и потому — общий. Рыжий, вислоухий, с белым пятном на груди, он жил под лестницей первого подъезда, и его кормил весь дом. От бабы Нюры ему доставались косточки, от дяди Гоши — тёплое место в котельной в сильные морозы. Тузик лаял на чужих,

провожал детей до школы и встречал их обратно. За шесть лет он ни разу не пропадал дольше, чем на вечер.

Искали его всем двором. Заглядывали в подвалы, за гаражи, в мусорные баки. Дядя Гоша сходил даже к железной дороге. Вернулся он хмурый и ничего не сказал, только долго смотрел на снеговика и курил, прикуривая одну «Астру» от другой.

— Уголь-то ваш, — сказал он наконец Андрюше. — Вы его вчера сразу вставили?

— Сразу.

— Тёплый ещё был?

— Тёплый.

Дядя Гоша кивнул, словно что-то себе подтвердил, и ушёл к себе в котельную. Дверь он в тот день впервые за все годы запер изнутри.

К вечеру баба Нюра постучала в стекло и позвала Андрюшу.

— Шарф мне верни, — сказала она. Голос у неё был спокойный, а пальцы, державшие форточку, белели. — Сейчас верни, пока светло.

— Вы же сами сказали, когда растает…

— Я сказала — я и передумала. Сейчас.

Андрюша подошёл к Егорке. Вблизи снеговик оказался выше, чем вчера. Или Андрюше так показалось. От него тянуло холодом — не снежным, а каким-то погребным, как из открытого холодильника в мясном отделе. Андрюша взялся за конец шарфа и потянул.

Шарф не поддался.

Он вмёрз в снег, врос в него, стал частью шеи. Андрюша дёрнул сильнее — и вдруг почувствовал, как что-то легло ему на плечо.

Синяя варежка. Его собственная, с дыркой на большом пальце.

Она лежала легко, почти нежно. Как кладут руку на плечо другу, когда хотят сказать: не надо. Андрюша не дышал. Сквозь дырку в варежке виднела ветка тополя, и она была гибкой. Сухие ветки не гнутся. А эта сгибалась, обхватывая его плечо, как палец.

Он услышал, как в окне первого этажа застучали кулаком по стеклу.

— Отпусти! — кричала баба Нюра, и Андрюша не сразу понял, что она кричит не ему. — Отпусти, кому говорю! Не твой он! Не твой!

Варежка соскользнула с плеча.

Андрюша отступил на шаг, потом ещё на один, а потом развернулся и бежал до подъезда, не чувствуя ног. У двери он обернулся.

Егорка стоял так же, как стоял. Руки расставлены, цилиндр набок, улыбка от края до края. Обыкновенный снеговик, каких в тот вечер в Бузулуке стояло, наверное, две сотни.

Только у его подножия, в ледяной корке, теперь виднелся тёмный полукруг. Андрюша не стал возвращаться и разглядывать его. Он и так знал, что это такое.

Это был старый кожаный ошейник Тузика.

Глава четвёртая. Метеостанция

Николай Котов не верил ни в Бога, ни в чёрта, ни в народные приметы. Он верил в приборы.

Двенадцать лет он проработал на бузулукской метеостанции, сначала наблюдателем, потом старшим техником, и за двенадцать лет приборы ни разу его не обманули. Обманывали люди. Обманывали синоптики из Оренбурга, которые по телефону обещали оттепель, а приходил мороз. Обманывало радио, обманывали газеты. А термометр в будке на метеоплощадке показывал ровно столько, сколько было, и ни градусом больше. Николай любил это в приборах больше всего: им было всё равно, что о них думают.

Станция стояла на окраине, за последними домами, на голом пригорке, где ветру ничто не мешало. Белая деревянная будка на четырёх ногах, мачта с флюгером, дождемер, похожий на ведро без дна, и маленький кирпичный домик с печкой, где жили журналы наблюдений. Журналы Николай вёл сам, аккуратным чертёжным почерком, и гордился тем, что у него за двенадцать лет не было ни одной помарки.

Первая помарка появилась тридцатого ноября.

В то утро он запускал радиозонд.

Запуск был делом простым и всё равно торжественным, как всякое дело, где человек отпускает что-то в небо. Красная оболочка шара, наполненная водородом, рвалась из рук. Под ней на длинном шнуре болтался белый ящичек передатчика. Николай отпустил, и шар пошёл вверх, сначала медленно, потом всё быстрее, и через минуту стал красной точкой на сером небе.

Приёмник в домике застрекотал. Самописец пополз по ленте.

Николай смотрел на ленту и сначала ничего не понимал. Потом понял — и не поверил.

Обычно температура с высотой падает ровно, по правилу, которое знает каждый школьник: на каждую сотню метров — около градуса. Бывают инверсии, бывают тёплые прослойки, но всё это мелочи, всё это объяснимо. А тут кривая на ленте падала не так. Она падала, как камень в колодец. На трёхстах метрах было минус двадцать восемь. На пятистах — минус сорок один. На восьмистах — минус пятьдесят шесть.

А на тысяче метров сигнал пропал.

Николай постучал пальцем по стеклу самописца. Проверил антенну. Проверил питание. Всё работало. Просто зонд перестал передавать — сразу, на полуслове, будто его выключили.

Он вышел на крыльцо и задрал голову. Небо над Бузулуком было ровное, серое, низкое, без единого просвета. Шара не было видно. И ещё — это Николай заметил не сразу, а когда заметил, по спине у него прошёл холодок, — облака над городом стояли неподвижно. За городом, над бором, над степью, они ползли с северо-запада на юго-восток, как и положено при таком ветре. А над крышами, над трубами, над серыми пятиэтажками висела неподвижная плоская серая крышка.

Как будто над городом кто-то поставил стакан.

Зинаида Марковна пришла на смену к обеду.

Ей было шестьдесят восемь лет, и на станции она работала с тридцать девятого года, с перерывом на войну, когда её, совсем ещё девчонку, отправили метеорологом на аэродром под Куйбышевом. На пенсию её выгоняли уже трижды, и трижды она возвращалась, потому что новые наблюдатели не задерживались, а журналы кто-то должен был вести. Она курила «Беломор», носила мужскую ушанку и называла Николая «Коленька», хотя он был начальником её смены.

Николай показал ей ленту. Она долго смотрела, держа её на вытянутой руке, как держат дальнозоркие. Потом положила ленту на стол, разгладила ладонью и сказала:

— Ну вот.

И больше ничего.

— Что — «ну вот»? — спросил Николай.

Зинаида Марковна не ответила. Она встала, прошла в угол, где стоял старый железный шкаф с архивом, и долго гремела там ключами. Шкаф этот Николай открывал за двенадцать лет раза два, не больше. Там лежали журналы за довоенные и военные годы, перевязанные бечёвкой, пыльные, никому не нужные, кроме комиссий, которые никогда не приезжали.

Зинаида Марковна вытащила из шкафа одну пачку, развязала бечёвку, вынула толстый журнал в коленкоровом переплёте. На обложке выцветшими чернилами было написано: «Ноябрь — декабрь 1946».

— Смотри, — сказала она. — Сам смотри. Я и так помню.

Николай открыл журнал.

Почерк был чужой — острый, торопливый, с наклоном. Записи шли как положено: дата, срок наблюдения, температура, давление, влажность, ветер, облачность. Двадцать восьмое ноября: снег, минус четыре. Двадцать девятое: минус девять. Тридцатое: минус двадцать два. Первое декабря: минус тридцать один. Третье декабря: минус сорок.

А на полях, напротив третьего декабря, той же рукой, только мельче и неровнее, будто писали на коленке, было приписано: «Шар-пилот потерян на высоте 900 м. Облачность над городом неподвижна. Над городом стоит».

Николай перечитал последние два слова три раза.

— Кто это писал?

— Аркадий Семёнович Лунин. Начальник станции. Хороший был человек, из ленинградских, после блокады сюда приехал. — Зинаида Марковна закурила, выпустила дым в сторону форточки. — Он в январе сорок седьмого пропал. Пошёл на площадку снимать показания в ночной срок и не вернулся. Нашли его весной, когда снег сошёл. В овраге за станцией. Сидел.

Она помолчала.

— Говорили, заблудился в метель. До площадки от домика сорок шагов, Коленька. Сорок шагов. Он их пять лет каждую ночь ходил.

Николай закрыл журнал.

— Зинаида Марковна, — сказал он мягко, как говорят со старыми людьми. — Это аномалия. Антициклон. Стационарный, с очень сильной инверсией. Я про такое читал. В Сибири бывает, в Якутии бывает. Бывает и у нас, раз в несколько десятков лет. Ничего мистического.

— А я разве говорю — мистическое? — удивилась Зинаида Марковна. — Я ничего не говорю. Это ты говоришь. А я журнал показала. Ты просил — я показала.

Она докурила, затушила папиросу о блюдце и уже в дверях, натягивая ушанку, добавила:

— А в девятьсот шестом, говорят, тоже стояло. Тогда тут земская станция была, при больнице. Её журналы в музее, в краеведческом. Сходи, если интересно. Только ночью, Коленька, на площадку один не ходи. Буди меня.

Он, конечно, пошёл один.

Это было в ночь со второго на третье декабря. Ночной срок наблюдения — три часа, и Николай вышел из домика без десяти три, как выходил сотни раз. Мороз стоял такой, что воздух казался твёрдым. Он вдохнул — и закашлялся: лёгкие обожгло, как кипятком. Фонарик на морозе светил слабо, жёлтым, батарейки садились на глазах.

До площадки было сорок шагов. Николай знал их наизусть. Двадцать шагов прямо, мимо поленницы, потом чуть левее, к столбику с флюгером, потом ещё двадцать — к будке. Ночь

была тихая, совсем без ветра, и звёзд не было видно — над городом висела всё та же серая крышка, только теперь она была чёрной.

На двадцатом шаге он остановился.

Потом он не мог объяснить себе, почему остановился. Ничего не случилось. Ничего не было видно и ничего не было слышно. Просто на двадцатом шаге он вдруг понял, что не помнит, куда идти дальше. Не помнит, где столбик с флюгером. Не помнит, в какой стороне будка. Не помнит, в какой стороне домик за спиной.

Он обернулся. Сзади была темнота. Ни окна, ни огонька. А ведь он оставил в домике свет.

Николай посветил фонариком под ноги. Под ногами был снег — ровный, нетронутый, без единого следа. Его собственных следов, которые он только что оставил, тоже не было.

Вот тогда ему стало страшно. Не так, как бывает страшно ночью от скрипа или шороха, — по-другому, тяжело и спокойно, как бывает страшно, когда понимаешь, что ошибся в чём-то очень важном и исправить ничего уже нельзя. Он стоял посреди ровного снега, в полной тишине, и чувствовал, как холод входит в него. Не снаружи — изнутри. Как будто кто-то открыл у него в груди форточку.

И ещё ему вдруг захотелось сесть.

Это желание было таким сильным и таким сладким, что он едва не послушался. Сесть прямо в снег. Отдохнуть минутку. Снег был мягкий, а он так устал за эту неделю — от смен, от лент, от непонятных цифр. Посидеть, подумать. Подумать о чём-нибудь хорошем. Например, о том, что в журнале у него никогда не было помарок.

Николай Котов, старший техник, член партии, человек, который не верил ни в Бога, ни в чёрта, сделал тогда то, чего не делал с детства. Он сунул руку за пазуху, нащупал там, под свитером, под рубашкой, маленький медный крестик на суровой нитке, который мать надела на него ещё в пятьдесят шестом, перед тем как отправить в пионерский лагерь, и который он так и не снял — не из веры, а потому что как-то не собрался. И сжал его в кулаке.

Крестик был тёплый.

И тогда далеко впереди, в темноте, звякнул флюгер.

Николай пошёл на звук. Двадцать шагов. Будка выплыла из темноты белым пятном, такая знакомая, такая обычная, что он чуть не заплакал. Он открыл дверцу, посветил на термометры, записал показания в блокнот — рука дрожала, и цифры вышли кривые. Минус сорок четыре.

Потом он закрыл будку и посмотрел вверх.

Он и сам не знал, зачем посмотрел. Наверное, затем же, зачем смотрел в то утро на ленту самописца, — чтобы убедиться. Он был человек приборов. Он должен был видеть своими глазами.

Над городом, высоко-высоко, там, где кончалась чёрная крышка неподвижных облаков, что-то медленно поворачивалось. Огромное, тёмное, похожее на воронку. Или на глаз. Или на открытый рот. Оно не двигалось с места — только поворачивалось вокруг себя, тяжело, лениво, как поворачивается во сне человек. И из самой середины его вниз, на крыши Бузулука, тянулся тонкий, едва видный белый столб — как нитка, как паутина, как дыхание на морозе.

Столб уходил куда-то в сторону Комсомольской улицы. Туда, где стоял дом номер семнадцать.

Туда, где спали его дети.

Домой он пришёл в восьмом часу утра, после смены, с серым лицом и красными глазами. Жена спросила, не заболел ли. Он сказал — нет, просто устал.

Он прошёл в детскую. Андрюша спал, отвернувшись к стене, натянув одеяло на голову. Танька спала у окна. Николай подошёл к её кровати — и остановился.

На подушке, рядом с Танькиной щекой, лежал тонкий слой инея. Он лежал полукругом, ровно, будто кто-то всю ночь стоял над кроватью и дышал. Танькины ресницы были белые. Она улыбалась во сне.

Форточка была открыта.

Николай закрыл её. Потом постоял, подумал и закрыл на шпингалет. Потом нашёл в кладовке старые ватные полоски, которыми заклеивали окна на зиму, и заклеил щели. Потом пошёл на кухню, сел за стол и долго сидел, глядя на свои руки, пока жена не поставила перед ним чай.

— Коля, — сказала она. — Что?

— Ничего, — сказал он. — Там яма над городом. Холодная. Стоит и не уходит.

Жена не поняла. Он и не ждал, что поймёт. Он и сам не понимал.

В тот же день он сделал в журнале наблюдений первую за двенадцать лет помарку. В графе «Примечания», напротив ночного срока третьего декабря, он написал своим аккуратным чертёжным почерком: «Над городом стоит». Потом посмотрел на эти слова, взял лезвие и долго, старательно соскабливал их с бумаги, пока не протёр насквозь.

Дырка в журнале осталась. Через неё было видно следующую страницу, ещё пустую.

Глава пятая. Последний вечер Кольки Рыжова

Колька Рыжов знал про себя всё и ничего хорошего в этом знании не находил.

Ему было сорок четыре года. Из них двадцать два он проработал сварщиком на заводе имени Кирова, и проработал хорошо: в цеху до сих пор висела его фотография на доске почёта, выгоревшая до белизны, никем не снятая — просто потому, что снимать её было лень. Шов у Кольки был, как говорил мастер, «девичий» — ровный, тонкий, без единой раковины. Потом умерла мать. Потом ушла жена, забрала дочку и уехала к сестре в Тольятти. Потом было много всего, что Колька помнил плохо, и в конце концов его выгнали — тихо, по статье, с жалостью, которая была хуже любой ругани.

Теперь он жил в однокомнатной квартире в третьем подъезде, оставшейся от матери. Работал где придётся: грузчиком на овощебазе, сторожем на автобазе, разнорабочим при ЖЭКе. Пил. Пил не так, как пьют от весёлой жизни, а так, как пьют от пустоты, — тихо, упорно, в одиночку, глядя в окно.

Зато у Кольки был «Урал».

Мотоцикл стоял в гараже за домом с восемьдесят первого года. Колька собирался его починить. Каждую весну он собирался его починить: перебрать карбюратор, поменять цепь, перетянуть сиденье. Каждую весну доставал из-под брезента, протирал бак рукавом, садился в седло и сидел так час, иногда два, с ключом в руке. А потом снова накрывал брезентом и шёл в магазин.

Дети во дворе его не боялись. Пьяный, он становился добрым. Трезвый — ещё добрее, только стыдился этого. В кармане старого пальто у него всегда лежали леденцы, слипшиеся в один липкий ком, и он отколупывал их ногтем и раздавал малышне, приговаривая, что все они ещё будут людьми, не то что он.

— А вы разве не человек, дядя Коля? — спросила его однажды Танька Котова.

Колька долго думал над ответом. Потом сказал:

— Был когда-то.

Танька не поняла. А он запомнил этот разговор надолго и почему-то часто вспоминал его потом, особенно по вечерам.

Второго декабря он проснулся в четыре часа дня с ощущением, что в квартире кто-то есть.

Никого, конечно, не было. Была только тишина, особенная тишина сильного мороза, когда даже трубы перестают гудеть, а за окном не ездят машины. Колька полежал, глядя в потолок с жёлтым пятном от протечки, похожим на карту Австралии. Голова болела. Во рту было сухо и мерзко. Хотелось пить, есть и чего-нибудь крепкого — именно в таком порядке, хотя он знал, что последнее победит.

Он встал, натянул штаны, свитер, ватник. Сунул ноги в валенки. Посчитал деньги в жестянке из-под чая: рубль сорок мелочью. На бутылку «Агдама» хватало впритык. На кефир — уже нет. А кефир был нужен: от кефира к утру отпускало.

Колька подумал и решил взять то и другое. Продавщица в гастрономе на углу, Валентина, его жалела и отпускала в долг.

Он вышел из квартиры, спустился по лестнице, толкнул дверь подъезда — и задохнулся.

Мороз ударил так, будто его облили ледяной водой. Колька постоял на крыльце, моргая, пока ресницы не слиплись, пока из носа не потекло, пока глаза не привыкли к синему сумеречному свету. Двор был пуст. Ни одного ребёнка, ни одной мамаши с коляской, ни одной старухи на лавке. Только посреди двора стоял снеговик в красном цилиндре и смотрел на дом.

Колька знал этого снеговика. Видел, как его лепили, неделю назад, из окна. Хороший вышел снеговик, ладный. Особенно шарф. Колька тогда даже улыбнулся.

Теперь, проходя мимо, он не улыбнулся. Он не мог бы объяснить почему, но, проходя мимо, обошёл снеговика по широкой дуге — так, как обходят на улице незнакомую собаку, о которой ещё неизвестно, укусит или нет.

Снеговик не шевельнулся. Только Кольке показалось — именно показалось, потому что в такой мороз чего только не покажется, — что угольные глаза под цилиндром медленно повернулись ему вслед.

В гастрономе было тепло и пахло хлебом, мокрыми опилками и хозяйственным мылом. Валентина стояла за прилавком в синем халате поверх пальто и вязала носок.

— Николай, — сказала она, не поднимая глаз. — Опять?

— Валь, — сказал Колька. — Последний раз.

Валентина вздохнула и отложила вязание. Она поставила на прилавок бутылку «Агдама», потом, подумав, две бутылки кефира с зелёными крышечками из фольги. Колька высыпал на блюдце свою мелочь. Валентина пересчитала, не трогая, одними глазами, и записала остальное в тетрадку, где у Кольки была целая страница.

— Ты бы домой шёл, — сказала она. — Там знаешь сколько? Тридцать четыре. Вчера на Чапаева мужик у гаража заснул, так его еле откачали. Пальцы на ногах отрезали.

— Я домой, — сказал Колька. — Я ж домой, Валь.

— Вот и иди домой.

Он сложил бутылки в авоську и пошёл к двери. У самой двери Валентина окликнула его:

— Николай.

Он обернулся.

— Там у вас во дворе снеговика ребятишки слепили, — сказала Валентина. Голос у неё был странный, неуверенный, будто она и сама не знала, зачем это говорит. — Ты мимо него… ты не ходи мимо. Обойди как-нибудь. Вдоль гаражей.

— Чего так?

— Не знаю, — сказала Валентина. — Сон мне снился. Ерунда. Иди.

Домой он пошёл, конечно, через двор.

Вдоль гаражей был длинный крюк, а он замёрз, у него болела голова, и в авоське булькал «Агдам». Кроме того, Колька Рыжов, при всех своих слабостях, был человек гордый. Обходить снеговика из-за того, что Вальке приснился сон, он не собирался.

Двор встретил его той же тишиной. Окна горели жёлтым. Где-то на втором этаже играло радио — «Маяк», какая-то песня про то, как хорошо в краю родном. Колька шёл и тихо подпевал ей под нос, хотя слов не знал.

Снеговик стоял на прежнем месте.

Нет. Не на прежнем. Колька это понял, когда до подъезда оставалось шагов двадцать. Днём снеговик стоял посреди двора, у песочницы. Теперь он стоял ближе. Шагов на пять ближе к дому. И чуть левее. Как раз на той тропинке, по которой Колька всегда ходил домой.

Колька остановился.

«Мальчишки, — подумал он. — Мальчишки передвинули. Шилов этот, бандит. Вечно что-то выдумает».

Мысль была хорошая, разумная. Колька подержал её в голове, как держат в руках тёплую кружку. Потом отпустил, потому что вспомнил: снеговик был тяжёлый, выше человеческого роста. Втроём бы не сдвинули. Да и следов вокруг не было. Ни одного следа на ровном синем снегу.

— Ну, — сказал Колька вслух. Голос его прозвучал в тишине хрипло и глупо. — Ну и стой. А я пойду.

И пошёл — по целине, в обход, по колено в снегу.

Он прошёл мимо снеговика шагах в трёх. Ближе подойти не смог бы ни за что на свете. От снеговика тянуло холодом — не таким, какой был вокруг, а другим, особенным, глубоким, как из колодца. Колька шёл и чувствовал этот холод левой щекой, левым боком, левой рукой, державшей авоську. Пальцы в рукавице онемели. Потом онемела рука до локтя. Потом он перестал чувствовать авоську.

Он дошёл до лавки у песочницы и понял, что дальше не пойдёт.

Ноги не держали. Не то чтобы подкашивались — просто вдруг стали тяжёлыми и чужими, как два бревна. Колька опустился на лавку, поставил авоську на колени и посидел, отдуваясь.

«Минутку, — подумал он. — Посижу минутку, отдохну, и пойду. Подъезд вон он, рукой подать».

Он посмотрел на подъезд. Подъезд был близко. Тёплый жёлтый свет горел над дверью. Колька видел даже облупившуюся краску на двери, видел щербатую ступеньку, о которую спотыкался сто раз. Десять шагов. Двенадцать от силы.

И вдруг ему стало тепло.

Это было удивительное тепло. Оно пришло не снаружи, а изнутри, откуда-то из живота, и медленно разлилось по всему телу — в грудь, в руки, в онемевшие ноги. Так бывает, когда выпьешь первую рюмку после долгого перерыва. Так бывает в детстве, когда приходишь с мороза домой, а мать уже затопила печку и ставит на стол миску горячих щей.

Колька закрыл глаза и улыбнулся.

Он вдруг вспомнил мать. Не такой, какой она была в последние годы, высохшей, жёлтой, лежачей, — а молодой. Такой, какой она была в пятидесятых, когда они жили ещё в деревянном доме на Ленинградской. Как она стояла у окна и звала его ужинать. «Коля! Ко-оля! Домой!» Как пахло тогда в доме тестом и сушёными яблоками. Как трещали дрова.

— Ко-оля, — сказал кто-то совсем рядом. — Домой.

Колька открыл глаза.

Мать стояла у окна на первом этаже и звала его. Это было окно бабы Нюры, но Кольку это ничуть не удивило. Мать была молодая, в цветастом платке, в той самой кофте, которую потом распустила на носки. Она махала ему рукой. За её спиной горела лампа под зелёным абажуром.

— Сейчас, мам, — сказал Колька. — Сейчас иду.

Но не встал. Ему было слишком хорошо, слишком тепло. Он только смотрел на мать и улыбался.

А потом рядом с ним на лавку сел кто-то большой и белый.

Колька не повернул головы. Он и так знал, кто это. Он почувствовал, как тяжело прогнулась под этим кем-то доска. Почувствовал запах — не запах, а отсутствие запаха, такое полное, будто рядом вдруг образовалась дыра в воздухе. Почувствовал, как что-то лёгкое и мягкое легло ему на руку. Варежка. Синяя детская варежка с дыркой на большом пальце.

И тепло вдруг пошло из него — в эту варежку.

Он почувствовал это так ясно, как чувствуют, что из ранки идёт кровь. Тепло уходило из живота, из груди, из рук. Уходило ровно, без спешки, тоненьким ручейком — туда, в синюю варежку, в белую тушу рядом, в два угольных глаза, которые теперь были совсем близко и в глубине которых медленно, как угли под пеплом, разгорались две красные искры.

И странное дело — Кольке было не жалко.

Он подумал: пусть. Пусть берёт. Всё равно оно мне ни к чему. Всё равно никто его у меня не просил, это тепло, двадцать лет никто не просил. А этому вон надо. Этому холодно. Видно же, что ему холодно.

— Холодно тебе, да? — спросил Колька вслух.

Снеговик не ответил. Но Колька почувствовал, как варежка на его руке чуть сжалась. Совсем чуть-чуть. Как сжимает руку ребёнок, когда боится темноты.

В последний момент он всё-таки понял.

Это случилось, когда мать в окне перестала махать рукой. Она просто опустила руку и стояла, глядя на него, и лицо у неё было уже не молодое, а такое, каким Колька видел его последний раз, — в больнице, за день до конца. Серое, строгое, с запавшими глазами. И Колька вдруг понял, что это не мать. Что матери там нет и не было. Что окно тёмное, и лампы под зелёным абажуром нет, и что он сидит один на лавке во дворе в тридцать четыре градуса мороза, и сидит уже давно.

Он попробовал встать. Ноги не послушались. Он попробовал поднять руку — рука лежала на коленях, на авоське, тяжёлая, как железо, и не шевелилась. Он попробовал крикнуть, но вместо крика изо рта вышло только белое облачко пара, которое сразу осыпалось инеем ему на грудь.

Тогда он повернул голову. Это было последнее, на что у него хватило сил.

Снеговик сидел рядом. Его лицо было в двух ладонях от Колькиного лица. Колька видел каждую песчинку в снегу, каждую крупинку угольной пыли, вмёрзшую в белые щёки. Видел морковку, покрытую тонкой ледяной коркой. Видел рот — полукруг камешков, и среди серых камешков два желтоватых, загнутых, острых.

И видел глаза.

В глазах не было злобы. Колька ждал злобы и не нашёл её. Там было что-то другое. Что-то, что Колька сразу узнал, потому что двадцать лет видел это в зеркале каждое утро.

Там была тоска. И одиночество. И холод, который нельзя согреть ничем.

«Эх, брат», — подумал Колька.

И последним усилием, уже ничего не чувствуя, он разжал пальцы правой руки. В пальцах был слипшийся ком леденцов, который он, сам того не заметив, вытащил из кармана. Леденцы скатились с ладони и упали в снег, у подножия снеговика.

Это было всё, что у Кольки Рыжова было, кроме тепла.

А потом он поднял глаза к небу — и увидел, что над двором, высоко, на фоне чёрных неподвижных облаков, кружится столб снежной пыли, а в столбе стоит длинный худой старик в тулупе навыворот и смотрит вниз. Не на Кольку. На снеговика. Смотрит внимательно и одобрительно, как мастер смотрит на работу ученика.

Колька хотел сказать ему что-нибудь. Что-нибудь злое, крепкое, по-заводски. Но не успел.

В окне на втором этаже всё ещё играло радио. Песня кончилась, и диктор сказал, что в Москве полночь.

Утром баба Нюра, разгребая у своего окна снег, нашла в сугробе у подножия снеговика несколько слипшихся леденцов. Они вмёрзли в лёд, и выковырять их она не смогла.

Она стояла над ними долго, опираясь на лопату. Потом перекрестилась и пошла звонить в милицию.

Глава шестая. Холодные ночи

К началу декабря в Бузулук пришли морозы, каких не помнили даже старики.

Днём стояло двадцать пять, ночью тридцать четыре. Воздух сделался стеклянным и звонким: слышно было, как за три квартала хлопает дверь магазина. Птицы падали с проводов. В школах отменили занятия для младших классов, и по радио каждое утро повторяли одно и то же: вторая смена тоже не учится.

Страннее всего было то, что мороз стоял только у них. В «Времени» показывали карту, и на ней в Оренбурге было минус десять, в Куйбышеве минус девять. А между ними, в маленьком городе на реке Самаре, лопались трубы. Андрюшин отец работал на метеостанции старшим техником. Он приходил домой молчаливый и по вечерам подолгу сидел над своими лентами и таблицами.

— Так не бывает, — сказал он однажды матери, не зная, что Андрюша слышит из коридора. — У нас над городом стоит какая-то яма. Висит на одном месте, не двигается, и из неё тянет. Как из погреба.

Кольку Рыжова нашли в среду, третьего декабря.

Во дворе его знали все. Бывший сварщик с завода имени Кирова, выгнанный за прогулы, он жил в третьем подъезде и держал в гараже мотоцикл «Урал», на котором не ездил уже лет пять. Дети его не боялись. Пьяный, он становился добрым, раздавал липкие леденцы из кармана и говорил, что все они ещё будут людьми, не то что он.

Он сидел на лавке у песочницы, в трёх шагах от Егорки.

Сидел спокойно, прислонившись спиной к спинке, словно присел передохнуть по дороге домой. На коленях у него стояла авоська с двумя бутылками кефира, и кефир в них распирал фольговые крышечки белыми столбиками. Глаза у Кольки были открыты и затянуты инеем. И он улыбался.

Андрюша видел это из окна, пока взрослые не натянули на лавку старое одеяло. Он на всю жизнь запомнил не лицо, а позу. Колька сидел не как человек, которому стало плохо. Он сидел как человек, с которым поговорили о чём-то очень хорошем.

А Егорка стоял рядом и смотрел на него. Не на окна — на него.

Участковый, лейтенант Пахомов, приехал на жёлтом уазике к десяти. Потоптался вокруг лавки, поспрашивал соседей, что-то записал в блокнот, дыша на стержень ручки, чтобы паста не замерзала.

— Переохлаждение, — сказал он. — Выпил, присел, сомлел. При таком морозе дело минут. Они всегда улыбаются, замёрзшие. Им перед концом жарко делается.

Вовка Шилов стоял среди взрослых и не выдержал.

— Это он, — сказал он громко и показал на снеговика. — Он его заморозил. И собаку тоже он. У него во рту зубы Тузика!

Настала тишина. Потом кто-то из женщин нервно засмеялся. Лейтенант Пахомов посмотрел на Егорку, потом на Вовку — устало, без насмешки, как смотрят на ребёнка, которому приснился страшный сон.

— Иди домой, парень, — сказал он. — Уши отморозишь.

Вечером Вовкин отец выдрал его ремнём за то, что он позорил семью перед милицией. Андрюше и Таньке запретили выходить во двор до конца морозов. Лену никто не стал ни драть, ни запирать: она просто села делать уроки, как всегда. Но на следующий день вместо школы она пошла в городскую библиотеку.

Вовка попробовал в пятницу.

Он дождался, пока отец уйдёт на смену, взял из кладовки штыковую лопату и вышел во двор. Андрюша видел его из окна и стучал по стеклу, но Вовка даже не поднял головы. Шило всегда был прав. Быть правым и стоять в стороне он не умел.

Он замахнулся и ударил Егорку ребром лопаты под верхний ком, туда, где под шарфом должна быть шея.

Звук был такой, будто ударили по рельсу. Лопата отскочила, и Вовку отбросило назад. Он ударил снова. И снова. На третий раз снег подался, лопата ушла в него на ладонь — и застряла. Вовка дёрнул черенок на себя. Потом ещё раз.

Андрюша видел, как он вдруг замер. Видел, как он попытался разжать пальцы — и не смог. Руки в варежках примёрзли к черенку, а черенок на глазах покрывался белым пухом инея. Иней полз к Вовкиным локтям.

Андрюша не помнил, как сбежал по лестнице. Не помнил, как выбежал во двор в одних тапочках. Помнил только, что дядя Гоша уже бежал от котельной с ведром, из которого валил пар. Кочегар плеснул кипятком на лопату, на Вовкины руки, на снеговика.

Егорка зашипел.

Звук был похож на то, как шипит вода на раскалённой сковороде. И ещё — Андрюша потом никому этого не говорил — на то, как сквозь зубы втягивает воздух человек, которому больно.

Лопата выскочила. Вовка упал на спину.

Руки ему потом оттирали в травмпункте. Два пальца на левой так и не отошли до самой весны. Дяде Гоше врач сказал, что кипяток при обморожении — это дикость и варварство. Дядя Гоша не спорил.

А к вечеру рана на шее снеговика затянулась. От неё не осталось даже шрама.

Той же ночью Андрюша проснулся от холода.

Танькина кровать была пуста. Форточка стояла настежь, и на подоконник намело белую горку. Танька стояла на стуле у окна, высунув голову в форточку, и что-то тихо говорила в темноту. Волосы у неё побелели от инея.

Андрюша стащил её со стула. Она не сопротивлялась и не проснулась. Лицо у неё было спокойное и счастливое, а губы — синие.

— Он спрашивал, почему я к нему не выхожу, — пробормотала она ему в плечо. — Ему там одному холодно.

Андрюша захлопнул форточку и посмотрел вниз.

Егорки посреди двора не было.

Он стоял у самого подъезда, под их окнами, и смотрел вверх. От песочницы до двери тянулась гладкая ледяная дорожка, как след улитки. А железная ручка подъездной двери, которую Андрюша видел в свете фонаря, обросла инеем так густо, будто кто-то долго держался за неё снаружи.

И не решался потянуть.

Глава седьмая. Читальный зал

Лена Гаврилова не боялась темноты. Она боялась беспорядка.

Ей было десять лет, и она давно поняла про мир одну важную вещь: всё на свете можно сосчитать, а то, что сосчитано, уже не страшно. Страшно то, что не поддаётся счёту. Когда папа ушёл от них три года назад, она не плакала — она посчитала. Посчитала, сколько дней он не звонит. Сколько писем не пришло. Сколько раз мама плакала на кухне, думая, что Лена спит. Числа росли, складывались в столбики, и от этого делалось легче, потому что столбик можно было подвести чертой и написать внизу итог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.